

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ • ОБЩЕСТВО

Релоканты

По следам Ремарка



Рисунок: Петр Саруханов / «Новая газета»

15:12, 1 июля 2024,

Александр Генис

ведущий рубрики

полную версию материала со всеми мультимедиа-элементами
вы можете прочитать [по этой ссылке](#) или отсканировав QR-код →



1.

В смутное время статистике можно доверять лишь тогда, когда она располагает убедительными, то есть проверяемыми цифрами. Как раз такие данные я нашел в «Коммерсанте».

— Издатели объявили, — пишет газета, — что резко выросли продажи книг о жизни в Третьем рейхе. Причем это не столько история войны, сколько свидетельства частных наблюдателей. Образцы такой литературы пользуются огромным спросом. Так, продажа сборника дневников и личной переписки немцев во времена фашизма выросла на 400 процентов.

Впрочем, немецкая литература той эпохи и раньше была нам важна и нежно любима. Во многом из-за обаятельной фигуры Ремарка. Его антивоенный шедевр «На Западном фронте без перемен» обошел мир, причем таким образом, что и страны Антанты не обратили внимания: герои книги — враги, с которыми шла чудовищная Первая мировая война. Ко времени появления книги уже было безразлично, кто в ней победил. Когда в 1930-м в Голливуде снимали получивший два главных «Оскара» фильм по этой книге, то продюсеры пожаловались режиссеру Льюису Майлстоуну (он же Лейб Мильштейн из Кишинева) на то, что картине не хватает счастливого конца.

— Хорошо, — согласился тот, — мы закончим фильм «хэппи-эндом»: победой в войне Германии.



Кадр из фильма «На западном фронте без перемен»

Ремарку было не до победы. Все его творчество живет в тени войны — и первой, и второй, и той личной, которую его поколение вело за выживание в непригодных для этого исторических обстоятельствах.

В молодости мы, честно говоря, этого не понимали. И если в остальном мире Ремарку принесла славу военная проза, то в нашем — мирная. «Трем товарищам» я завидовал больше, чем трем мушкетерам, и не дружил с теми, кто не знал эту книгу наизусть. Для нас в ней не было сюжета — только ткань, натуральная, но с добавлением синтетики: сентиментальность с цинизмом. Три товарища вели независимую от власти жизнь по законам окопного братства. В их обиходе враги выполняли служебную роль — неизбежное условие прифронтового быта. Зато все важное, любимое и больное происходило по эту сторону — в дружеском кругу, сложившемся в родном окопе. В эту батальную среду принимали только мужчин, и чтобы войти в нее, героине пришлось стать четвертым товарищем, пройдя обряд боевого крещения:

— Лучше из стакана, — сказала она. — Я еще не научилась пить из бутылки.



Плакат «Три товарища» 1938 год. Источник: on-off-on.ru

Автор выбрал в герои честное, талантливое, обаятельное, вооруженное *«иронией и жалостью»* потерянное поколение, у которого ненужная война отняла способность вести нормальную жизнь. Поэтому герои Ремарка, как и мы все тогда, замкнулись в частной жизни. А когда они выбирались из нее, то это плохо кончалось — как это случилось с Ленцем, убитым в уличной драке на почве политики.

2.

Я слишком любил трех товарищей, чтобы обратить внимание на исторический фон романа — Веймарскую Германию. К тому же мы мало о ней знали, пока уже в 90-е годы не примерили

«веймар» на себя — с парламентом и олигархами, со свободой и произволом, с надеждой и нищетой. Но главное, что для немцев Веймар был прологом к фашизму.

Обвал Германии по-прежнему остается мучительной загадкой и актуальной проблемой всей западной цивилизации просто потому, что Германия была ее квинтэссенцией. Гитлер пришел к власти не в Камбодже или на Кубе, а в духовном центре континента. То-то Марк Твен учил своих детей немецкому, считая его языком будущего. Даже разрушенная Первой мировой войной Германия была могучей интеллектуальной державой. Это была страна с лучшей системой образования, страна, где профессора философии считались духовной аристократией, страна, где роман «Будденброки» выдержал сто изданий, где труднейший «Закат Европы» Шпенглера стал сенсационным бестселлером. Здесь снималось чуть ли не лучшее в мире кино и ставились самые интересные спектакли. Между двумя войнами Берлин был художественной столицей. Об этом пишет в своем подробном исследовании «Веймарская культура» американский историк Питер Гэй.

Берлин с его несравненными оркестрами, 120 газетами и 40 театрами был непобедимым магнитом для всех талантов Европы. Этот Берлин сравнивали с Вавилоном, с Римом, описанным Светонием, но он был самим собой со всем грехами и гениями.

Эту — другую — Германию нам не показывают в фильмах о фашистах, но именно в таком духовном пейзаже происходило возвышение Гитлера. Он победил не оттого, что мир вокруг него одичал. Скорее, перезревшая, истончившаяся культура сама

отдала ему власть, разуверившись в своей способности ею распорядиться.

Трагедия веймарской эпохи в том, что ее никто так и не полюбил и не пожалел — до тех пор, пока нацизм не раздавил первую немецкую демократию.

— Немецкие интеллектуалы того времени, — пишет в своей замечательной биографии Хайдеггера лучший интерпретатор германского духа Рюдигер Сафрански, — ненавидели Веймар не меньше фашистов.

Они презирали все то, что относилось к этой демократии: партийную систему, многообразие мнений и стилей жизни, релятивизацию так называемых истин, непрерывно соперничающих друг с другом, усредненность и негероическую «нормальность». В этих кругах государство, народ, нация рассматривались как ценности, в которых еще продолжает жить пришедшая в упадок метафизическая субстанция: считалось, что государство, стоящее над партиями, действительно именно как облагораживающая народный организм нравственная идея; что лидирующие личности, обладающие харизмой, выражают дух народа.

За этим стояла застарелая ненависть к политике, о которой еще в 1927 году сказал Карл Фоссер, ректор университета в том самом Мюнхене, где, на родине нацизма, теперь расположен лучший исторический музей той эпохи.

Часто можно услышать сетования на то, как грязны, нездоровы и нечисты все политические дела, как лжива пресса, как фальшива деятельность кабинетов, как вульгарны парламенты и так далее. Очевидно, те, кто жалуется на все это, считают самих себя слишком возвышенными, слишком духовными, чтобы заниматься политикой.

О том, чем это кончилось, Ремарк написал в своих поздних книгах, посвященных изгнанникам, или, как бы теперь сказали, «релокантам».

3.

«Ночь в Лиссабоне» вынырнула для читателей очень кстати. Это книга описывает одиссею немецких эмигрантов в поисках нового дома. Рассказывая об их мрачных приключениях, Ремарк часто вспоминает (обычно с симпатией) их русских предшественников. Они встречаются почти во всех книгах Ремарка и играют в них роль предтеч германских беженцев.

— Русские устроились получше, чем мы, — сказал Шварц.

— Они были первой волной эмиграции, — заметил я. — Им еще сочувствовали. Разрешали работать, выдавали документы. Нансеновские паспорта. Когда эмигрантами стали мы, мир давным-давно израсходовал свое сочувствие. Мы были докучливы, как термиты, и почти

никто за нас не вступался. Мы не вправе работать, не вправе существовать, и документов у нас нет как нет».



Фото: соцсети

Белая эмиграция, проиграв Гражданскую войну, бежала из страны, захваченной большевиками. Для очень многих жизнь стала невозможной. Другими словами, наша Первая волна, как, впрочем, и все остальные, представляла порабощенное население, мечтавшее вырваться из-под власти чудовищной идеологии и сбрендивших кремлевских вождей. Эти эмигранты бежали на Запад потому, что Россия перестала им быть.

Но с немцами все обстояло еще хуже. Они не проиграли бой за

свободу, а упустили ее из рук. Незрелую, ущербную, убогую, с плутократами и демагогами, с олигархами и заговорщиками, она, свобода, у них все же была, но никто ее не отстоял.

Недолгий демократический эксперимент завершился тем, что на выборах страна проголосовала за то, чтобы выборов больше не было.

— У русских, — считали на Западе, — не было альтернативы бегству от варваров.

Но немцы сами были Западом, сами от него отказались и сами с него сбежали — когда выяснилось, что Гитлер хуже Веймара. Так за что же их жалеть?

4.

Для меня самая острая часть в романе «Ночь в Лиссабоне» та, где герой с чужим паспортом возвращается домой и видит, что с его родиной сделали нацисты.

Каждому эмигранту снятся такие сны. Ты оказываешься в памятных с детства местах, встречаешь оставшихся близких, плачешь от счастья, а потом на обратной дороге перед тобой вырастает шлагбаум — и все, ты остаешься навсегда там, куда приехал, чтобы всего лишь навестить родное.

Мой товарищ-диссидент сидел в Мордовии с одним парижанином. Родители-эмигранты выучили его своему родному языку и без усталости рассказывали про левитановские пейзажи.

Но когда он приехал, чтобы на них посмотреть, его сразу отправили в лагерь. Выйдя несколько лет спустя на относительную свободу, он провел последнюю ночь у московских

родственников, где отказался спать в кровати из суеверия: проявишь слабость, застрянешь навсегда.

Сам я незадолго до перестройки, решив в первый раз побывать в социалистической Европе, выбрал Югославию. Несмотря на двусмысленный в политическом отношении режим, я вздрогнул при виде красных звезд на границе.

В книге Ремарка шок возвращения был, конечно, куда сильнее.

Передовицы в газетах были ужасающие. Лживые, кровожадные, заносчивые. Мир за пределами Германии представлял в них выродившимся, коварным, глупым, пригодным лишь на то, чтобы им завладела Германия. Газеты были не местные и раньше имели хорошую репутацию. Не только их содержание, но и стиль просто в голове не укладывались.

Самое страшное в возвращении — пропасть между родным миром и свободным. Герой Ремарка осознает это в немецком поезде, везущем его в город, где он вырос и был счастлив.

Купе заполнялось, пустело и заполнялось вновь. Людей в форме среди пассажиров было в этот час совсем немного, почти сплошь самый обыкновенный народ, с

разговорами вроде тех, какие я слышал во Франции и в Швейцарии, — о погоде, об урожае, о событиях дня и страхе перед войной. Они боялись ее, только вот за пределами Германии все знали, что войны хочет Германия, а здесь я слышал, что за граница навязывает ее Германии. Почти каждый был за мир, как всегда накануне катастрофы.

5.

Следуя за книгами Ремарка, я попал в свой город, где провел уже полвека. «Тени в раю» — про Нью-Йорк таких же, как я, эмигрантов, только немецких. Каждая топографическая деталь в романе мне знакома — и дешевые отели, и старые, а тогда еще молодые небоскребы, даже ночной клуб «Копакабана» и сегодня на том же месте. Но прежде всего узнаются улицы Манхэттена, которые герою книги напоминают самого себя — эмигранта с чужими документами.

В Нью-Йорке легко найти дорогу: почти все улицы пронумерованы. Совсем как я.

— И я стал номером, который носит случайное имя, — мелькнуло у меня в голове.

Какая успокоительная безымянность; имена приносили мне слишком много неприятностей.

Комплекс анонимности в огромном и незнакомом городе охватывает здесь каждого новичка — и, признаюсь, не проходит с годами. Почти полвека прожив в Нью-Йорке, я по-прежнему чувствую себя отделенным от толпы, как, впрочем, каждый.

У героя Ремарка вместо потерянного имени — утраченная родина, ставшая позорным бременем, и немецкий акцент, который простителен только бежавшим от нацистов евреям.

— У вас передо мной есть некоторое преимущество, — сказал я. — Вы еврей. И согласно подлой доктрине тех людишек, не принадлежите к их нации. Я не удостоился такой чести. Я к ним принадлежу.

Самого Ремарка журналист в Америке спросил, скучает ли он по Германии.

— С какой стати, — ответил писатель, — я же не еврей.

Видимо, ответственность за чудовищные преступления соотечественников изрядно мешает ностальгии.

Не могу сказать, что я часто встречал подобное отношение. Разве что в самом начале советского вторжения в Афганистан, когда «Столичную» выливали на мостовую и русские таксисты, не в силах скрыть раскатистое славянское «ррр», превратились в болгарских таксистов. Однажды вечером мы с братом отправились в соседний бар поиграть в бильярд. На беду нам пришлось в голову научить соперников сражаться по русским правилам.

— По ним, — не скрывая вражды, ответили нам, — будете

играть в Афганистане.

Мы не стали оправдываться за чужие грехи. Ремарк тоже.

— Вы не американец? — спросила девушка.

— Нет, немец.

— Ненавижу немцев.

— Я тоже, — согласился я.

Уже не в первый раз меня делали ответственным за преступления фашистского режима в Германии. И постепенно это перестало трогать. Я сидел в лагере для интернированных во Франции, но не возненавидел французов. Объяснять это, впрочем, было бесполезно. Тот, кто умеет только ненавидеть или только любить, — завидно примитивен.

Упраздняя оттенки, мы делим мир на жертв и палачей. И это никак не спасает тех, кто, сбежав на свободу, не относится ни к тем, ни к другим.

Герой Ремарка, два года скрывавшийся от гестапо, хорошо понимал эту диалектику вины и ответственности. Как, конечно, и его автор, который написал, возможно, самый честный коллективный портрет немцев на фоне двух мировых войн и веймарского антракта между ними.

Нью-Йорк, июнь 2024

P.S.

Эмиграция — продолжение России другими средствами. От нее ведь все равно не избавишься, как от тени. Та часть нашей культуры, которая выпадет нерастворимым осадком, видимо, и есть пресловутая «русскость». Она не поддается определению, ибо всякой разговор, начинающийся словами «русские — это...», уже разновидность расизма. Тем не менее я верю, что каждой народ обладает специфическими достоинствами и недостатками. Лучшее среди первых — теплота дружеского общения. Самый необычный среди вторых — любовь «придуриваться», представлять себя глупее, чем есть, в надежде поживиться и разжолобить судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



[До и после войны](#)

Стефан Цвейг. «Вчерашний мир. Записки европейца»

15:44, 5 июня 2024, Александр Генис